



Каган Д. Рассказы живым. Лососно

Лососно

В канун Нового года меня срочно вызвал стерший врач Блисков.

- В Лососно эпидемия сыпняка, - объяснил он, глядя не на меня, а в стол, - медиков там мало, требуется врач из нашего лагеря. Помолчал и не услышав возражений, добавил:
- Это на время, может быть, через месяц опять к вам вернешься.

О Лососно я знаю мало, но то, что это еще более глубокая яма, чем здесь, известно. И тяжело уезжать от товарищей, к которым привык. Как там будет? Кто там? Вопросы эти сейчас ни к чему. Да и вызвал он меня, а не другого потому, что знал: возражать не стану, не скажу, что он такой же пленный, пусть сам едет...

- Когда уезжать?

- Сейчас. Немцы приехали на грузовике, ждут у Вобса в канцелярии.

Прощаюсь с Барановым, Яшей, Максимовым. Баранов, провожая меня до выходной двери, говорит:

- Будет возможность, сообщите, как вы там...

На двора мороз, колючий ветер сечет лицо. Конвоиры уже ждут, один из них толчком приклада открывает дверку в заднем борту. Сажусь впереди, двое солдат - по бокам. Проехали мост через Неман, поднялись в гору. Дорога идет заснеженным полем, редкие огни города остаются позади. Немцы чем-то недовольны, курят часто. На головах у них пилотки, такие же, как и летом. Уши закрыты круглыми суконными наушниками, - явно не русский способ уберечь себя от холода. Изредка улавливаю запах вина. От Гродно до Лососно около пяти километров, но ноги у меня успели замерзнуть, продрог. Поворачиваться нельзя, конвоир уже один раз прикрикнул и выразительно перебросил автомат из одной руки в другую. Сидеть надо неподвижно и от этого еще холодней.

Впереди небо стало светиться, будто над городом. Еще минута - и можно различить длинные ряды электрических фонарей. Вот и проволока показалась... Полосатый шлагбаум поднимается, машину пропускают внутрь лагеря. У шлагбаума - караульный в широченной шинели, на голове, под пилоткой, шарф, а на ногах, сверх сапог, огромные соломенные калоши. Лагерь здесь или доvezут дальше?

- Аб! - приказывает мне конвоир, соскочив с машины.

Ни одного здания не видно. Огромное снежное поле, обнесенное высокими рядами проволоки, над проволокой - электрические фонари и такие же пулеметные вышки, как и в Гродно. Кого здесь охраняют, где люди? Можно различить, что поле не ровное, а покрыто множеством снежных сугробов правильной продолговатой формы. Неужели землянки? К одной из них ведут меня по протоптанной в снегу тропинке. Где-то внизу, почти под ногами, открывается дверь, мелькает свет. Спускаюсь по обледенелым ступенькам и вхожу в помещение. Никого нет. Около порога - столик, здесь же приставлены к стене носилки. Низкий потолок, стены обиты досками, в них каждый гвоздь покрыт морозным инеем. В некоторых местах сквозь щели между досками обсыпается комки мерзлой земли. Из боковой двери вышел человек в коротком, грязном халате, натянутом на телогрейку, совершенно лысый, шея высоко замотана рваным зеленым кашне. Зябко потирая руки, он остановился перед конвоиром.

- Arzt1. - показал ему конвоир на меня и, крепче надвинув пилотку на лоб, ушел.

- Я - дежурный фельдшер. Вы не из Гродно?

- Из Гродно.

- Пойдемте!

Прошли мимо длинных рядов двухэтажных нар, тесно занятых больными. В другом конце землянки, за дощатой перегородкой живут врачи и фельдшера. Тоже двухэтажные нары. С одних поднимается голова с какими-то очень знакомыми жесткими прямыми волосами пепельного цвета, и еще более знакомыми рябинками на лице.

- Доктор Мостовой! - обрадованно окликаю его.

Мостовой встает с нар и подходит вплотную.

- Ты без костылей, без палки? Здравствуй, здравствуй. Иди-ка, сядем. Кто у вас из лидских врачей?

Перечисляю тех, кого Мостовой знает.

- Пушкарев тяжело болел.

- Жалко Степана Ивановича! Из наших врачей пока еще только один болен - Журавлев. Тут мы и без тифа чуть ходим. Холод, вши, брюква...

Подошел Прушинский. В Лиде я не замечал у него седины, а здесь виски побелели.

Здоровуюсь и с теми, кого раньше не знал.

- Этого доктора ты знаешь, наверно? - Мостовой показывает на низенького молодого человека с улыбающимся, немного на выкате, глазами. Залатанный во многих местах китель висит мешком на худых плечах. - Он тоже витебский. Круглов.

- Нет, незнакомы... Круглов, ассистент кафедры гигиены, не родственник ваш?

- Брат.

- Ну, тогда и сестру знаю, на одном курсе были.

- Хочу спросить, где сейчас она, успела ли эвакуироваться, но, увидев помрачневшее лицо Круглова, умолк.

Минутное молчание прерывает вошедший фельдшер.

- Раненого принесли, с проволоки! - кричит он с порога.

Торопливо идем в дежурную. На полу, в носилках, лежит уже умерший. По виду - подросток, без шапки, шинель распахнута, ботинки на босу ногу не зашнурованы. На

коротких волосах не растаявшим снег. Лицо безжизненное, струйка крови застыла на подбородке и тонкой шее. Мостовой опустился на колени, расстегнул гимнастерку. На груди, выше правого соска, маленькая дырочка, покрытая запекшейся кровью. Раненый погиб от внутреннего кровотечения. Ни прощупать пульс, ни выслушать тоны сердца не удается.

Мостовой кладет похолодевшую руку несчастного. Все! Мы стоим опустив головы. Всем ясно, что он не пытался бежать, а больной, в бреду, вышел из землянки и наткнулся на проволоку. Тут его и застрелил часовой. Ясно это и ефрейтору караульной команды, который с хмурым и скорбным лицом стоит рядом с носилками.

Дверь с треском открывается и в землянку входит полицаи в зеленой шинели. Сытое лицо красно от мороза, шапка лихо сбита на затылок, на рукаве повязка с черной надписью: «Polizai».

- Капут! Капут! - кричит он громко, бессмысленно улыбаясь ефрейтору.

- Пусть не лезет на проволоку! - добавляет он, согнав с лица улыбку и приняв официальный вид.

Все поражены этой откровенной подлостью. Немев резко повернулся к полицаям, произнес какое-то ругательство, затопал ногами и схватился за тесак. Полицая бросился вон из землянки, оторопело оглядываясь на немца.

Мостовой, ссутулившись, покидает дежурку, мы идем за ним. Проходя через темный барак, мимо стонущих, кашляющих больных, останавливаюсь, стараясь справиться с подступившим к горлу комком.

- Ночуй сегодня у нас, вот здесь, - Мостовой указывает на верхние нары.

- Завтра скажут, в каком блоке работать. Везде повальный тиф, дизентерия, На нарах, что рядом, укладывается фельдшер, с которым сегодня познакомился.

- А вы тифом болели? - спрашивает он меня.

- Нет.

- Заболеете, - произносит он спокойно, как что-то само собой разумеющееся.

Не хочется говорить, перед глазами - убитый на проволоке. Сосед долго ворочается, под ним шуршит солома. Убедившись, наверно, что заснуть так скоро не удастся, он запел вполголоса: «Мама, ты спишь, а тебя наряжают в белый, совсем незнакомый наряд... Свечи церковные вдруг зажигают...»

Утром весь лагерь виден как на ладони. Так же, как и ночью, каждая землянка кажется продолговатым сугробом, Единственное помещение, не зарытое в землю, - комендатуре в дальнем конце лагеря. Привычным взглядом оцениваю устройство ограды. То же самое, что и в Гродно, никаких отклонений от стандарта. На фоне пустынного снежного поля, распростертого до самого горизонта, проволочная ограда с пулеметными вышками кажется непреодолимым. Ни одного жилья поблизости от лагеря. Станция Лососно, по имени которой и назван лагерь, отсюда не видна. Далеко на востоке заманчиво синее лес. Стараюсь угадать, в каком месте часовой застрелил ночью больного. Не тот ли, в очках, с соломенными калошами на ногах. Да они все в огромных соломенных калошах. В Гродно еще придерживаются формы, а здесь стесняться нечего. Часовой у пулемета повязал голову какой-то шерстяной тряпкой, яроде платка, гам, на вышке, ему особенно неприятен холодный ветер чужой страны.

Сзади скрипят по снегу шаги, из землянки вышел Прушинский.

- Первый раз вижу, как немцы от холода спасаются, - делюсь с ним я.

- Форма что надо! Им сейчас не до формы. Говорят, наши Смоленск взяли.

- Ну?! Когда?

- Да вот, на днях как будто. Кто на работу ходит - рассказывают: каждый день идут

эшелоны, везут раненых и обмороженных немцев. Гонят их от Москвы.

По лагерю идет военнопленный с повязкой на рукаве. Поворачивает к нам.

- Кажется, за вами, - говорит Прушинский. Можно различить надпись на рукаве пленного «Dolmetscher».

- Вы врач из Гродно? - спрашивает долметчер.

- Я

- Пойдемте в блок.

Дорогой он скупко объясняет:

- Немцы приказали никого не выпускать из сыпнотифозного блока. Раньше там работал Журавлев, недавно сам заболел. Сыпняк...

За невысокой проволокой — четыре длинных землянки. Хлопают дощатые двери, пленные выходят, справляют нужду и быстро возвращаются обратно. В калитке стоит полицай, в руках резиновая палка. Судя по свирепой физиономии, он, наверно, только мертвых не бьет. Долметчер остается у калитки, идти дальше на территорию заразного блока он опасается.

- Там медпункт, вы фельдшера найдите! - кричит он, когда я за проволокой блока направляюсь к ближайшей землянке.

Спускаюсь по ступенькам к двери с широкими щелями, над которой висит дощечка с надписью: «№ 2». Зайдя, остановился у порога, чтоб привыкнуть к темноте. Помещение освещено несколькими квадратными оконцами, вделанными в крышу над проходом между нарами. Проход длинный, конец его едва виднеется в сумраке землянки, метров через тридцать. Там, наверно, и находится фельдшер. Иду по дощатому настилу, под которым хлюпает вода. Больные лежат в два ряда, на сплошных нарах и под ними, прямо на полу. Кто на тюфяках из рогожи, кто просто на соломе. Некоторые, замечая нового человека, поворачивают или приподнимают голову. Воздух насыщен холодной густой сыростью.

В конце землянки светлей. Тут, кроме окошка в крыше, вделан еще кусок стекла над дверью. Стоит маленькая печка из жести, ее топит сгорбленный человек в шинели, с небольшой седеющей бородой.

- Вы фельдшер?— спрашиваю у него, здороваясь.

- Нет, я санитар. Сейчас он придет.

В углу стол, сбитый из горбылей, тут же тумбочка. На печку падают капли воды с крыши и тотчас испаряются. «Кап-п-п-ш-ш-и-и, кап-п-п-ш-ш-и-и» — раздается то и дело, и змейки пара поднимаются и тают в воздухе. Стропила частые, из жердей. Какой настил крыши — трудно понять, по-видимому, из дерна, земляной. Каждая жердь покрыта множеством капель, тонкие струйки воды бегут книзу и стекают под доски пола. Глаза уже привыкли к полумраку, видно, что вода стекает не только здесь, вблизи от печки, а повсюду.

Минут через десять пришел фельдшер. Молодой, выше среднего роста, с худым небритым лицом, в расстегнутой шинели, всматриваясь в меня, он не рассчитал шага и ступил не на ту половицу, доска шмякнула, и струя воды ударила из-под нее.

Поздоровались. Фамилия его Ивашин.

- Что у вас там? - спросил я, кивнув на тумбочку.

- Шприц, камфара.

- Камфара? - переспрашиваю я с радостным удивлением.

- Пока есть. От наших осталась. Ветеринарная.

- Как ветеринарная?

- По десять граммов в ампуле.

- Ну, это неважно.

Фельдшер не разделяет моей радости.

- Шилом моря не нагреешь! - произносит он знакомую поговорку.

- Кончается, вот одна коробка.

Во время обхода узнаю от него, что в землянках и те, у кого нет тифа. Как появились случаи гифа, так наложили карантин на весь блок.

- Никого не выпускают! Немцы решили, что проще поставить полицаев у проволоки, чем помыть всех и дезинфицировать одежду. А полицаи свое дело знают... Только вынос трупов разрешается.

- Он натужно закашлялся, вынул из кармана тряпку, служившую ему носовым платком. Останавливаемся около больного, который, лежа головой к проходу, что-то пишет. В руках самодельный блокнот из тетради, огрызок карандаша. Так погружен в записи, что никого не замечает.

- О чем пишешь? - спрашиваю.

Парень приподымается на четвереньки, слабая краска смущения выступает на покрытом грязными корками лице. Судя по пушке на верхней губе, ему лет восемнадцать.

Всматриваясь в меня, вполголоса отвечает:

- Дневник!

Отстегивает карман гимнастерки, хочет спрятать блокнот. Вшей на гимнастерке столько, что им тесно в складках воротника и на рукавах, они серой строчкой расположились по шву кармана. Жирные, медлительные.

- Пиши! Пиши! - говорю я.

Надо отойти, не мешать. Но хочется подольше побыть с ним рядом, погреть свою душу его верой. «Наши придут непременно и застанут ли его в живых если нет, а дневник прочтут...»

Из-под нар выполз человек в гражданской одежде, стал в проходе. Странно тут видеть вместо шинели драповое пальто.

- Почему меня здесь держат? - кричит он.

- Я не военный! - Рыжая, сбита комом борода, глаза отчаявшегося, близкого к безумию человека. Он расстегивает пальто. На нем пиджак и грязная рубашка с отложным воротничком.

Немцы не утруждали себя разбором, кто военный, а кто гражданский. Возраст армейский, а если ты в гражданской одежде, значит, переоделся. И марш в колонну военнопленных! Многие без сознания, в бреду. Если взглянуть в солому, на которой лежат люди, то можно заметить ее слабое шевеление: все кишит насекомыми.

- Помыться бы... - на разные голоса обращаются ко мне. Я новый человек, может быть, помогу. «Помыться бы!» — одна мечта у всех. Вши высасывают последние капли крови, не дают покоя ни днем, ни ночью

- Была ли когда баня? - спрашиваю у Ивашина.

- Ни разу... С тех пор, как пригнали колонну пленных никто не мылся. Нет бани...

- Когда пригнали?

- Тут много из-под Ельни. В сентябре, кажется - голос у него глухой, усталый.

- А начали строить лагерь в июле, сейчас девяносто шесть землянок.

Осматриваем больного, на шинели которого черные петлицы артиллериста. Пульс слабый, мягкий. Немигающий взгляд покрасневших глаз, никого не узнает, на вопросы не отвечает. По прибитой к столбику палке-ступеньке залезаю на нары. С трудом удается выслушать глухие тоны сердца.

- Кризис уже наступил, - говорю Ивашину.

- Ему надо повторно вводить камфару, кофеин. Пока есть - будем делать.

Вечером вышел наверх. Темнеет, скоро сумерки перейдут в ночь. На западе у края

горизонта желто-серая полоса, последний отблеск вечерней зари. От проволоки доносится ругань. Лагерные санитары принесли бочки с баландой к калитке блока, тут их принимают наши санитары.

- Опять принесли неполные бочки,- кричат они на лагерных санитаров.

- Расплескали, сволочи!

- Не расплескали, а столько дали.

- Не будем принимать! Что нам - по ложке наливать каждому?!

- Что ты раскричался, гнида? - вмешивается полицай.

- Не возьмешь, так совсем не получите. Сейчас назад отнесут!

Покорившись, санитары продевают палки в ушки бочек и несут в блок.

Пора уже устраиваться где-нибудь на ночь. Помещение землянки освещено редкими коптилками, маленькими плошками с фитилями, вроде коробочек из-под гуталина.

- Вот здесь положим матрац, - Ивашин показывает на козлы, поставленные недалеко от печки.

- Тут Журавлев спал. А матрац этот мы на мороз выбрасывали.

Журавлев - врач блока, работал до меня, сейчас лежит в санчасти лагеря. Фельдшер понимает, что может беспокоить нового человека.

- Авось не заболею, - вслух успокаиваю я себя.

- Не все люди восприимчивы к тифу.

- Так мы и живем здесь уже три месяца. Вся надежда на авось. Верно? - говорит Ивашин, обращаясь к санитару.

Тот промолчал, сдвинул на печке котелки со снегом.

Предлагаю всех тяжелых больных собрать вместе, положить рядом. Тогда можно будет чаще к ним подходить. И уколы делать удобней.

- Набрали камфару? Пойдемте!

Одного шприца в десять граммов хватает на пять человек. У артиллериста пульс немного лучше. Открыл глаза, облизал сухие губы кончиком языка. Пить хочет.

- А в тех землянках тоже много тяжелых?

Ивашин отвечает не сразу.

- Как вам сказать. Сыпняка там меньше, зато дизентерия у многих.

Санитар разогрел снег в котелке и разносит воду, кому наливает в крышку от котелка и они сами пьют, кому вливает в рот из ложки.

- Спасибо!

- Еще капельку!

Ночью не могу заснуть от холода. Мешают насекомые. Пожалел, что не остриг волосы.

У печки сидит санитар, задумчиво устремив взгляд в гаснущие угли. Устав ворочаться без сна, подсаживаюсь к нему. Некоторое время оба сидим молча, греясь у печурки. Он налил кипятка в кружку, подал:

- Пейте!

Разговорились. Он кандидат наук, доцент московского технического вуза. Вступил в ополчение. Под Ельней попал в плен.

- Врачи вылечили рану, взяли в санитары. А то пропал бы.

В Москве у него жена, двое детей.. Рассказывает тихим, ровным голосом. Видно, уже переволновался человек, устал от всего пережитого.

- Говорят, тут, в Лососно, смертность особенно большая?

- С каждым днем увеличивается. Завтра сами увидите.

Согревшись кипятком, я снова лег.

Перед землянкой, за проволокой блока, проходит дорога к траншеям, где хоронят умерших. Еще только начинает светать, а уже слышен топот, крики, ругань. Одного за

другим проносят мертвых со всего лагеря. Шатаюсь от изнеможения, четверо волокут труп, ухватив его за руки и ноги. Зимняя стужа и страх перед мертвецом торопят людей. Стоит хотя бы одному из них споткнуться, как страшная ноша вываливается из рук. Обругав того, кто споткнулся, мертвеца тащат дальше.

Я пошел вдоль проволоки блока по направлению к маленькому проходу в главной ограде, где толпятся носильщики, опустив трупы на снег. Там же стоят немцы и полицаи. За проволоку пропускают не более четырех пленных и, пока они не возвращаются, следующие должны ждать. Припорошенные снегом тянутся длинные гребни земли, выброшенной из огромных свежевырытых траншей. Пока их не заполнят трупами доверху, они остаются открытыми.

Отсюда лес кажется ближе. Мысленно ставлю себя на место носильщиков, оцениваю условия побега. Нет, не добегут по глубокому снегу. А спрятаться в траншее, чтобы ночью вылезть и бежать, тоже нельзя: считают...

Когда возвращаюсь обратно, то уже совсем светло и на лагерной дороге, идущей к могилам, трупы несут тесной чередой. Слышу, как один из носильщиков, без шапки, в очках на хрящеватом носу, пригибаясь пол тяжестью ноши и с трудом перебирая длинными ногами, с иронией в голосе попрекает товарищей:

- Куда торопитесь, самостийны украинцы?

Немцы поместили пленных украинцев в отдельный блок. Кроме лишней порции геббельсовской пропаганды о «великой, самостийной Украине», их ничем не одаривают. Баланда такая же, как и в других блоках. И такая же смертность.

Из землянок выходят пленные и, зачерпнув снег в солдатский котелок, быстро возвращаются обратно Той воды, что приносят в бочках, не хватает. Умылся и я таким образом и, выпив кружку горячей воды пошел в ту землянку, где еще не был.

Условия те же: сырость, грязная солома на нарах, полумрак. Ивашин лечит больных и здесь: из четырех землянок блока две закреплены за ним, две за другим фельдшером.

- Есть больные с незажившими ранами, - рассказывает Ивашин, - с абсцессами. У сыпнотифозных - пролежни. Перевязывать их нечем.

- Что говорят в санчасти?

- И у них считанные бинты, да и те бумажные.

Перевязал один раз и выбрасывай.

- Надо мне в санчасть сходить. Пустят?

- Я узнаю, кто у калитки дежурит. Только вечером, когда темно, чтоб немцы не видели. Закончили обход к полудню и вышли наружу.

- Успеем осмотреть те две?

Ивашин не ответил. Он остановился, жадно вдыхая свежий морозный воздух. Цвет его бледного лица не изменился, глаза зажмурились от солнечного света и искристого снега.

- Вы меня не водите, оставайтесь. Сам пойду, говорю ему.

- Подождите! Познакомлю с Адамовичем.

Адамович - второй фельдшер блока, про него Ивашин уже как-то упоминал.

Ожидая товарища, подставляю лицо солнцу. Будто чья-то любящая рука гладит щеку, успокаивая и согревая, и я невольно сравниваю солнце с живым существом. Оно не различает ни бедных, ни богатых, ни свободных, ни заключенных, ему все равно какой ты нации. Не вы, а я высший судья! - говорит оно часовым, появляясь из-за облаков. И пока человеку светит солнце, он всегда будет надеяться на равенство, справедливость.

Ивашин, догнав меня, щелчком что-то сбил с моей шинели.

- Подождите, я вас осмотрю, - предложил он.

Я махнул рукой:

- Напрасный труд. Они уже ползают под шинелью, на теле.

Адамович широк в плечах, ниже среднего роста, он, видимо, был когда-то полным.

- Много ли с сыпным тифом? - спрашиваю у него.

- Да почти все, - машет он рукой.

- Только меня сыпняк не берет! - Шутя, по-актерски, ткнул себя пальцем в грудь.

- Я с довоенного времени проспиритован!

Каморка медпункта отделена невысокой перегородкой. Из пустых ящиков сложен стол, на который можно положить больного для перевязки.

При обходе впервые увидел больных с тяжелым осложнением тифа: гангреной.

- Вот, как обожженные, - говорит фельдшер, показывая больного с гангреной обеих стоп.

Ноги темно-коричневого цвета, пальцы, как уголь.

Пока не наступило заражение крови, таких больных нужно оперировать. Записываю фамилии, чтоб сообщить в санчасть: может быть, их удастся отправить в Гродно, к Иванову. Советую собрать оставшиеся от умерших фляжки, наливать их горячей водой и использовать как грелки. Если бы сердце поддерживать, у многих бы предупредили гангрену.

- Камфара, камфара... Где ее взять? - горестно развел руками Адамович.

Голод и болезни делают свое дело. С каждым днем все больше людей погибает. Лагерь вымирает. «Сегодня я несу хоронить, а завтра меня понесут...» — с горькой усмешкой говорят заключенные. Режим в лагере все жестче, паек все скуднее. Немцам и полицаям лучше не попадаться на глаза.

Привезли продукты для вахткоманды. Лошадь медленно тащит нагруженные мешками сани от лагерных ворот к комендатуре. Возчик, закутанный в армяк из домотканого сукна, сидит спереди, не поворачивается. Один мешок развязался, из него скатывается на дорогу картошка. Невдалеке стоит пленный. Несколько мгновений он, как зачарованный, смотрит на мешки, потом бросается на дорогу, падает коленями в снег и хватается несколько оброненных с саней картошин. Идущего по дороге немца не заметил.

- Halt! - завопил тот и ударом сапога свалил

пленного в снег. Выхватил тесак и плашмя стал наносить удары. Несчастный пытается подняться, но охранник вцепился в него, как бульдог. Коротенький, на кривых ногах, он и напоминает бульдога. Выместив на беззащитном человеке всю свою злобу, вложил тесак в ножны, поправил фуражку, деловито отряхнул снег с сапог и пошел дальше.

Около меня остановился Ивашин, тоже наблюдавший из-за проволоки блока.

- Все! Порядок восстановлен, - проговорил он.

- Но-о-вый пор-р-рядок! Будь они прокляты!

В санчасть мне удалось попасть только через две дня, вечером, когда стемнело.

- А я уж подумал, здоров ли ты. Чего не приходил? - Мостовой дружески поздоровался.

- Как «чего»? Не пускают полицаи.

- Он выругался.

- Во всех землянках карантин, тиф, вши заели. Я говорю немцам: зачем карантин - scheise, нужна баня, дезинфекция. А они смеются! Дескать, чего захотел!

- Вы встречали гангрену после тифа? - спрашиваю я.

- Тут это не редкость.

- У нас шесть, человек. Надо оперировать.

- Завтра буду просить, чтоб отправили в гродненский лагерь. Так, Стась? - спросил он у Прушинского. Тот ничего не ответил и продолжал о чем-то думать, едва удерживая пальцами догорающий окурок.

- До твоего прихода мы говорили о Журавлеве.

Они с Прушинским в одном медсанбате служили. Тяжелый, без сознания. А был крепыш когда-то, спортсмен.

- Мостовой провел ладонью по худым щекам.

- Я, наверно, загнусь на третий день, если заболею. Смертность в лагере растет с каждым днем. Сегодня рекордное число: сто семь умерших.

В землянку вошел немецкий солдат, без пистолета, с одним тесаком на боку. Улыбаясь, козырнул врачам и прошел в дверь к больным. Удивленно провожаю его глазами. Видно, он здесь не первый раз.

- Это Лешкин товарищ, - объяснил Мостовой, заметив мое удивление и беспокойство.

- Ты еще не знаешь Лешку?

Что тут знать? Полицай, наверно, - подумал я, но промолчал. А через минуту устыдился своих мыслей.

- Летчик, несколько раз бомбил Восточную Пруссию. В ноябре его самолет подожгли. Из-под Кенигсберга добрался к Гродно. Тут его поймали, били, допрашивали, потом привезли в лагерь. Он уже доходил в землянке. Взяли в санчасть. Потихоньку стал оживать, сейчас на ногах.

- А немец чего ходит?

- Вот такой немец... Фердинанд его зовут.

- Мостовой оглянулся.

- Он нам рассказывал про отступление немцев из-под Москвы, про прорыв нашей конницы к Смоленску.

Слушаю и ушам не верю.

- А один раз заговорил с нами про Толстого. У него Полное собрание сочинений Толстого на немецком языке. Я, говорит, до войны, пока в армию не взяли, всегда слушал по радио Москву. Ин-тер-на-цио-нал! - и палец ко рту прикладывает. К Лешке привязался, дружат. У нас интересуется, как мы его лечим, не опасно ли болен, не будет ли заражения. Иногда колбасу принесет своему приятелю, иногда - сигареты. Сидят на нарах рядом, объясняются кое-как.

Захотелось получше рассмотреть немца, зайти вместе с Мостовым к летчику, поговорить с ним. Может быть, подождать, пока солдат уйдет? Но нет, уже поздно. Я поднялся уходить.

- Вы нам камфары и кофеина дадите? Бинтов нет, ваты...

- Камфары и кофеина остались считанные ампулы. То, что наши при отступлении оставили, тем и живем. Немцы своего почти ничего не дают. Пришли завтра Ивашина, несколько бинтов получит. А ты не торопись уходить! Можешь здесь остаться ночевать.

- Надо идти.

Не хочется возвращаться в свою землянку, тут все-таки лучше. Может послушать совета Мостового, остаться здесь на ночь? Но вспомнил фельдшера, санитаря-доцента. А они, что, хуже меня? А больные?

Я уже привык к плохому сну, когда всю ночь ворочаешься и с нетерпением ждешь утра. Коротать ночь помогают санитар и фельдшер, вызывая к больным. Днем, при обходах, перевязках на время покидают мысли об этом проволочном мешке, в котором все обречены. Ночь кончается. Бледнее светят электрические фонари, не искрится отраженным светом лед в окошке. Светает... Чаще скрипит дверь, люди выходят, возвращаются, некоторые, кто покрепче и хотят помыть лицо и руки, приносят котелки со снегом. На многое уже нагляделся и перестал удивляться, но такое увидел впервые. Стоит около землянки человек, спустив брюки и кальсоны до колен, и шаркает рукой по худым бедрам, по одежде, счищает что-то, стряхивает. Ночью шел снег, все белым-бело. Только вокруг пленного, что стоит с голыми бедрами, снег какого-то серого цвета, словно грязное пятно. Не поверив своей догадке, подошел ближе. Снег потемнел от множества вяло

шевелиющихся точек. Вши?! Вши его съедают заживо! - содрогнулся я.

Вечером снова направился в санчасть, захотелось хотя бы полчаса посидеть при электрическом свете, узнать что-нибудь новое. Но не успел поздороваться и сесть как вошел унтер-офицер из комендатуры. Высокий, здоровый, фуражка немного на бок, усики как у Гитлера, коротко подстрижены. Лет сорока-сорока пяти. Бравирует, ходит в мороз без шинели, в одном мундире. Осмотрев нас, открыл дверь к больным, заглянул туда и снова закрыл. Поскрипывая новыми сапогами, приблизился к столу, щелкнул портсигаром, закурил. Картинно засунул одну руку за пояс и, держа в другой руке папиросу, вступил в разговор. Я стараюсь не смотреть на него. Немец противен и страшен своим видом, напоминающим самого Гитлера, и еще тем, что чисто говорит по-русски. Оказывается, долго жил в Советском Союзе, был арестован на какие-то дела, а в 1939 году, когда заключили договор, ему разрешили уехать в Германию. Он еще помнит прошлую войну, развал царской армии, разруху,

- Э-эй, Самара, качай воду,

- Де-зе-р-ртирам дай дорогу

- несколько раз повторяет он и заливается смехом, распространяя вокруг себя запах вина.

Оставив воспоминания в России, он пересел на своего любимого юньке: как поступить с евреями?

- Стариков и детей - и-и-их! - энергичный жест пальцем по шее, - на мусор. А работоспособных - Сахару. Пусть они там докажут свое право на существование!

Когда он ушел, какая-то неловкость мешает заговорить друг с другом.

- Да плюнь ты на него! - Мостовой старается приободрить меня.

- Он уже раз приходил сюда. А сегодня, наверно, Фердинанда выслеживает.

Дверь из помещения, где лежат больные, открылась.

- Заходи, Леша! - крикнул Мостовой.

Больной шире раскрыл дверь, но так и остался стоять за порогом. Рослый, русые волосы зачесаны назад, на подбородке и шее свежие следы ожогов.

- Нет, сейчас не зайду! Что-то температуру. Курить будете? - кивнул он Мостовому, с трудом вытаскивая перевязанной рукой сигарету.

Они о чем-то поговорили и разошлись.

- Это и есть Лешка-летчик. Ценный парень!

Возвращаюсь в блок под тяжелым впечатлением речей унтер-офицера. Иду медленно, стараясь ступать по узкой тропинке. Стоит шагнуть в сторону, как проваливаюсь глубоко в снег. Ноги намокают. Ветер метет по обледенелой корке снежного покрова, собирает узкими грядками выпавший вечером, еще не улегшийся снег. И морозно и сыро. Легкий туман, словно редкий дым, висит на освещенной проволочной ограде. Пустынно. Фигуры часовых сквозь дымку тумана кажутся безжизненными призраками. Будто все это не наяву, а в каком-то тяжелом сне. Сходство часовых с призраками усиливается оттого, что головы покрыты остроконечными башлыками, а у некоторых - платками Где-то я подобное видел или читал... Было где-то такое... Да, вот: инквизиция, остроконечные капюшоны, маски... Оступился, и острая боль в ране подчеркнула реальность окружающего.

Утром поднялся с тяжелой головой. Идти за снегом, чтоб умыться, неохота. Жизнь... Нет, не жизнь, а смерть идет своим чередом. Опять слышен топот ног по дороге к траншеям, одного за другим несут умерших. «Сегодня ты несешь, а завтра тебя...» Если умершего не волокут за ноги и руки, а несут на плечах, то кажется, что он еще жив. Руки оттопырены в сторону или свисают вниз, но окоченевшие, они полусогнуты, пальцы скрючены. Мертвый машет кому-то рукой, не то прощается, не то грозит. А может быть, хочет ухватиться руками за что-нибудь, остановить несущих, чтобы не быть брошенным в ров.

В землянке у Адамовича на лавке лежит больной и тихо стонет.

- Нарыв у него на бедре, - говорит Адамович.

- Никак не прорвется. Посмотрите вы!

Когда нарыв был вскрыт и вышел гной, в ране показалось металлическое полукольцо.

Ухватив его пинцетом, вытаскиваю.

- От гранаты, - сказал больной, пересилив боль и вытирая испарину со лба.

- Немцы из окопов гранаты бросали.

Освободился поздно. Подходя к своей землянке, остановился, кажется, воздуха не хватает. Глубоко вздохнул, но облегчения не почувствовал. Еще больше закружилась голова, тошнота живым клубком повернулась под ложечкой, Сел на снег. Пульс частый... С трудом дошел до землянки. Головная боль стучит в виски. Простудился, наверно. К вечеру стало знобить.

- Вам бы в санчасть, - говорит Ивашин, подавая кружку с кипятком.

- Завтра утром, сегодня не дойду.

- Ходить не надо, мы отнесем.

Отнесли на носилках.

Пока здесь ложись, у нас, - сказал Мостовой. — Верхние нары свободны, ты уже там лежал, когда приехал из Гродно. Может быть грипп, полежишь несколько дней и встанешь.

Измерили температуру - тридцать девять. Временами ничего не чувствую и не слышу, - то ли засыпаю, то ли теряю сознание. Очнувшись, стараюсь лежать неподвижно, так меньше ощущаю боль. Из-за перегородки, где лежат больные, доносятся стоны. Иногда кто-нибудь крикнет в бреду. Кто-то кашляет, сильно, с натугой и болью.

К утру температура немного снизилась. Но как только рассвело — исчезла надежда на другое, более легкое, чем тиф, заболевание. Подняв рукав, увидел на коже розовую сыпь. Диагноз ясен. И опять мучительная боль в висках.

Пришел в себя как-то ночью, почувствовал сильный холод. В землянке полумрак, тускло мерцает лампочка в проходе между рядами двухэтажных нар. Прямо перед глазами, у самых ног — щели в стене, видна мерзлая земля. Обшивка барака серебрится инеем, в пазах между досками — ледяные корки. Значит, меня сюда перенесли? Тут все лежат с сыпным тифом. Но почему болит шея и что-то давит за ухом? Голова забинтована. Оттянув немного повязку, почувствовал сладковатый запах гноя. Утром подошел Мостовой, сел на табуретку.

- Ничего не помнишь?

В ответ качаю головой.

- Две недели прошло. Ты в бреду «Бориса Годунова» рассказывал.

- Не может быть, - удивляюсь я. - Что там?

- дотрагиваюсь до повязки. Губы покрыты корками, говорить трудно.

- Паротит у тебя, осложнение сыпняка. Вскрыть надо!

- Вскрыть?

- Да, маленький разрез сделаем и все. Гной уже просачивается, надо отверстие расширить.

- Холодно очень.

- Скоро кипятки будут раздавать. Лежи!

- Пожав меня за плечо, Мостовой уходит.

Отхлебывая из кружки кипятки, слушаю печальный рассказ санитаря.

— Журавлев умер. Адамович заболел в один день с вами, умер через семь дней

Он называет фамилии и незнакомых мне медиков, умерших от сыпняка. А Адамович в памяти как живой Вот он шутливо говорит про себя: «Меня тиф не возьмет, я

проспиртован...»

- Круглов заболел неделю назад. У него легкая форма, сознание не теряет. А Лешку помните? Лешку-летчика? Сидит в карцере. Фердинанда, немца, который к нему приходил, послали на фронт.

На следующий день Мостовой снова пришел, настаивая на вскрытии абсцесса.

- Раз надо, так вскрывайте!

Отнесли в перевязочную, сняли повязку. «Сейчас, наверно, чем-нибудь обезболят», - надеюсь я. Санитары крепко прижали меня к столу. Будто раскаленным железом ткнул кто-то в шею ниже уха. Кричу, но голову вырвать не могу. Еще раз жгучая боль пронизывает тело и что-то теплое растекается по шее.

- Все! Все уже! - Мостовой швыряет скальпель в лоток и отходит от стола. Как будто издали слышен его голос: - Ни черта нет, чем я мог обезболить? Один скальпель, и тот как пила!

Источник: Каган Д. Рассказы живым: Документальная повесть / Издание второе, дополненное. — А.; Туркменистан, 1986, 208 с.

Электронную версию подготовили Денис Норель, Дмитрий Киенко, Сергей Пивоварчик.

Форматирование в PDF формат: *jromanr*

На нашем сайте Вы можете узнать больше про историю сражений в ВОВ у пос. Сопочкино:

<http://www.jromanr.com/>

2011.08